**ПЛОДЫ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ,**

**ДИВИНАЦИЙ И КОНЪЕКТУР**

Вспоминаю свою учёбу в школе: мы не просто читали и обсуждали какие-то произведения: кому нравится, кому не нравится. Затвердив наизусть по заданию учителя оду «Вольность», написанную, что подчёркивалось, *певцом свободы*, мы декламировали по очереди в классе на оценку:

Самовластительный злодей,

Тебя, твой трон я ненавижу,

Твою погибель, смерть детей

С жестокой радостию вижу.

Теперь я забыл, какие объяснения давались в 1960-е годы: кого Пушкин назвал *злодеем*, почему радуется его погибели, по какой причине поэт столь жестоко настроен против детей *злодея*. Ответ, в общем-то, *в* *воздухе витал*. Под влиянием всего, что вдалбливалось в наши головы в советское время, в умах нашего поколения, как и нескольких предыдущих, сама собой возникала *интерпретация*: свободолюбивый, вечно гонимый Пушкин желал смерти Николаю I по прозвищу Палкин. За то, что тот подавил восстание декабристов, повесил злодейски их вождей, пламенных борцов за свободу, и отправил остальных навечно в Сибирь, *во глубину сибирских руд*. Не учитывалось и не имело, собственно, значения, что «Вольность» явилась на свет до восшествия Николая на трон. Также подразумевалось, что в 1918 году, через сто лет после написания оды, свершилось то, о чём мечтал Пушкин: всю семью последнего Романова расстреляли, включая детей!

Из учебников и со слов учителя мы усваивали, что Н. В. Гоголь велик тем, что он *ненавидел уродливый мир крепостников и царских чиновников*. Как объяснял нам (в учебнике-хрестоматии для 7-го класса) Ф. В. Гладков, советский писатель: «Карающая сатира Гоголя питала жгучую ненависть народа к своим поработителям и укрепляла силы революционных борцов. Она расшатывала вековые устои мертвящего деспотизма. <…> Каждая страница его книг потрясающий обвинительный акт против правящей шайки злодеев, тюремщиков, мракобесов, душителей свободной мысли и творческой воли».

Каждый имеет право высказывать мнение по поводу той или иной прочитанной книги, никто не против литературных споров за чашкой чая или рюмкой чего покрепче, суждения могут быть разными и противоположными, одобрительными или хулительными, как, например, пренебрежительный отзыв поэта Маяковского о поэте Лермонтове:

В Лермонтове, например,

чтоб далеко не идти,

смысла не больше,

чем огурцов в акации.

Целые

хоры

небесных светил,

и ни слова

об электрификации.

Большая разница наступает, когда мнение напечатано в школьном учебнике, одобренном и утверждённом Министерством образования, оно подлежит заучиванию и запоминанию. Объяснения вроде только что зачитанных слов Гладкова, *классика социалистического реализма*, не допускали сомнения и возражения, и нам, школьникам, рисовались картины, будто в первой половине XIX века, да и вплоть до самого 1917 года, население Российской империи, этой *тюрьмы народов*, представляло собой стадо рабов (если не все в оковах и кандалах, то все поголовно в лаптях), над которыми всячески измывалась шайка злодеев, тюремщиков, мракобесов во главе с деспотом-царём.

*Обвинительными актами* выставлялись не только сочинения Гоголя, но и произведения Рылеева, Пушкина, Лермонтова, Некрасова...   
В старших классах, знакомясь со стихами В. В. Маяковского, мы принимали к сведению, что некоторые исторические личности заслуживают только осмеяния, например, *вертлявый пострел* Керенский: «Быть Керенскому биту и ободрану». Ни учительница, ни тем более мы, советские недоросли, не знали ничего (и не собирались узнавать) о Марии Бочкарёвой, но нас веселило и развлекало, что поэт Маяковский в поэме «Хорошо» насмехается боевито над *бабьим батальоном*, и в память врезалось, что в ноябре 1917 года Зимний дворец защищали от праведных красногвардейцев некие *бочкарёвские дуры*.

Выйдя за рамки школьной программы, напомню, что *горлан-главарь*, как назвал сам себя Маяковский, призывал к бессудной и скорой расправе над теми, кто противился большевикам: «Белогвардейца найдёте –   
и к стенке». По каким признакам определять, что человек, *найденный* где-нибудь на улице или у себя дома, белогвардеец? – поэт Маяковский не считал нужным уточнять. Размышляя о событиях столетней давности, я, вышедший из школьного возраста и, что существенно, проживающий при ином государственном устройстве, не коммунистическом, больше не считаю, что в красногвардейцы *записывались* только кристально чистые люди, а в белогвардейцы шла одна *сволочь* (любимое слово Маяковского). В стихотворении «Рано радоваться» (1918 год) кроме призыва *ставить к стенке* разгорячившийся *горлан-главарь* требовал уничтожать не только двуногих классовых врагов: «А Рафаэля забыли? Забыли Растрелли вы?» – после напоминания следует команда: расстреливай это *старьё* из стодюймовок, и памятник Александру III в Петрограде на Знаменской площади пора взорвать динамитом...

Мне скажут: не нужно понимать буквально, поэт прибегает к смелым метафорам, дабы ярче выразить свою мысль; чуть позже Маяковский объяснял, что он в своём «Рано радоваться» вовсе не подбивал никого к *ножовой расправе*. Так мне скажут, но я рассуждаю по-простому, полагаясь прежде всего на зрение: если на дверях висит табличка: «Посторонним вход запрещён», или на столбе имеется предупреждение: «Не влезай, убьёт!» – я не задаюсь вопросом: не метафора ли здесь? Поэт Пушкин в свои восемнадцать лет высказал ненависть к самодерж-  
цу и пожелал смерти его детям; у поэта Маяковского чесались руки физически уничтожить врагов, повзрывать памятники царского времени, пострелять из винтовки в музее и похерить классическую поэзию, ставшую, по его мнению, старьём, – он не счёл нужным скрывать свои хотения, заявив о них во весь голос; так у них написано, и я не вижу необходимости прислушиваться к чьим-либо оправдательным *интерпретациям* и умиротворяющим *дивинациям*.

Не только известные личности, и простые смертные дают волю чувствам; оборотимся на себя, спросим, кто из нас не без греха, ведь и мы порой так ненавидим кого-либо, что *задушил бы его своими руками*. Заявления, суждения и утверждения литераторов можно считать умными или глупыми, обоснованными или необоснованными; не следует, однако, вставлять в школьную программу особо запальчивые, оскорбительные, злобные или исполненные ненависти произведения вроде той же оды «Вольность», прикладывая к ним *интерпретации*, которые приходится со временем переделывать, в зависимости от государственного уклада и главенствующей идеологии, подлаживаясь под изменившиеся *требования*. В моё время Пушкина восхваляли прежде всего за смелое обличение самодержавия, именно за *ненависть* к тем, кого было принято называть деспотами и мракобесами; сегодня всё чаще слышишь, как Пушкин (атеист, автор «Гавриилиады» и «Сказки о попе и о работнике его Балде») выставляется *основоположником православной традиции в русской литературе.*

Использовав несколько раз слово *интерпретация*, я выделил его курсивом. Почему? Меня смущает следующее определение: «В литературоведении интерпретация – истолкование текста с целью понимания его смысла». На первый взгляд всё ясно: литературоведы, занимаясь интерпретацией, истолковывают произведения письменности; например, они объясняют нам, что *злодей* в пушкинской оде «Вольность» – Наполеон (а не русский царь, как нам говорили, или как нам казалось, когда я учился в школе).

Заглянем в толковые словари, где существительное *интерпретация* значит: истолкование, разъяснение смысла чего-либо. Перечитайте определение: «В литературоведении интерпретация – истолкование…» Не знаю, как вы, а я усматриваю здесь то, что называют *маслом масляным*. Рассуждаем дальше: истолковывать текст можно с иной целью, не для понимания, а, скажем, для затемнения, запутывания его смысла?

Лично я никогда не использую существительное *интерпретация* ещё и потому, что помню его значение в английском языке, с русским не совпадающее: *перевод*. Прислушаемся также к его употреблению в русской речи, оно встречается в таких высказываниях как, например: *старый трюк в новой интерпретации*. Здесь смысл *интерпретации* иной, не тот, который в словарях. Так что, поскольку заимствованное слово не всеми одинаково понимается и используется, незачем привлекать его для формулировок вроде той, которую я вычитал в учебном пособии для литературоведов. Скажите просто: литературоведы объясняют неясные места в произведениях.

Но, если выражаться просто и понятно, никто не поверит, что ты учёный, что ты не в бирюльки играешь, а науку двигаешь вперёд!

Такие термины, как *интерпретация, дивинация, конъектура,* равно как *номинация, концепт, коннотация* и многие другие, введены в филологию с лукавой целью. По поводу языка мы не можем сказать ничего нового, всё давно сказано; разбор художественных произведений, по большому счёту, не требует какой-то специальной подготовки в высшем учебном заведении; в качестве примера вспомним В. Г. Белинского, который и гимназии не окончил, и из университета был *выключен*, то бишь отчислен, что не помешало ему стать литературным критиком и высказываться толково о художественных произведениях своего времени.

Кстати, объяснение, или, если хотите, *интерпретация*, что в пушкинской оде под *злодеем* следует понимать Наполеона, является ошибочным. Во-первых, в 1817 году французский император, окончательно побеждённый и взятый в плен за два года до написания «Вольности», отбывал ссылку на острове Святой Елены, его *погибель* уже состоялась, и, что существеннее, Пушкин никогда бы не высказался о нём теми злыми словами, которые мы находим в «Вольности». Вспомним другое пушкинское стихотворение, где однозначно (а не предположительно) говорится о Наполеоне: *угас великий человек, могучий баловень побед;* прозвучало, что он *тиран*, сказано, что его *пленяло самовластье*, но в целом:

Над урной, где твой прах лежит,

Народов ненависть почила

И луч бессмертия горит.

*Самовластительный злодей* – образ собирательный, это любой коронованный *тиран*, поставивший себя выше Закона. Поскольку ода состоит из двух частей, и вторая часть – раздумья, навеянные Михайловским замком, где был убит император Павел, можно предположить, что слова относятся к Павлу: вслед за его погибелью пусть та же участь постигнет его многочисленных детей.

Объяснять произведения берутся необязательно люди умные, способные, начитанные. Человеку вообще свойственно ошибаться, и составители учебников по гуманитарным дисциплинам не исключение. Литературоведам (вкупе с историками) приходится вертеть головами, прислушиваясь к речам политиков, к выступлениям педагогических светил,   
они подлаживают свои *интерпретации* под новые идеологические *веяния*, а если ты служишь и получаешь зарплату из государственной казны, изволь полагаться на предписания из Министерства образования, где штатные теоретики тоже пребывают вечно в поисках путеводной идеи и ломают голову над тем: что же сделать, чтобы улучшить, и кто виноват в том, что никак не улучшается? Я говорю об этом без иронии и с пониманием, вспомнив по случаю, как Н. И. Тургенев, будущий декабрист, осуждал Александра Пушкина, недавно закончившего Лицей, за *эпиграммы против правительства*, и также выговаривал ему: «нельзя брать ни за что жалованье и ругать того, кто даёт его». Ещё не так давно литературоведам было удобно пользоваться проверенным шаблоном: не мудрствуя лукаво, да и вообще избегая умственных усилий, они помещали в учебном пособии портрет Пушкина с благородной осанкой и под ним, надёргав фраз у авторитетных пушкинистов, приводили вылощенную биография, в коей Пушкин, пламенный поборник свободы и обличитель самодержавия, претерпевал гонения и страдания и пал жертвой деспотизма. Сегодня стало сложнее: в каком свете, через призму чего *интерпретировать* Пушкина (и других классиков)? Так что имеет хождение и прежний шаблон, и новые *интерпретации*, например, что Пушкин – *последовательный монархист*, и будто бы он был *глубоко предан идее самодержавия*.

Пушкин (и, добавим, не он один) брал жалованье *ни за что* и ругал тех, кто даёт его. В июне 1817 года, ещё когда шли выпускные экзамены, лицеистов *распределили*, как мы говорим сегодня, на работу в различные ведомства, и Пушкин, получивший чин коллежского секретаря, был приписан, по собственному желанию, к Коллегии иностранных дел. Егор Антонович Энгельгардт, директор Царскосельского лицея, считавший, кстати, что у Пушкина *холодное и пустое сердце, чуждое любви и всякого религиозного чувства*, по прошествии полугода, в декабре, пишет А. М. Горчакову в Москву: «Пушкин ничего не делает в Коллегии, он даже там не показывается».

К чему я клоню, с какой целью я повторил слова Н. И. Тургенева и извлекаю на свет божий сведения, бросающие тень на нашего великого поэта? Во-первых, это вовсе не тень, я только делаю уточнение, дабы любители Пушкина, точнее, пушкинской поэзии, и вообще любители русской словесности не предавались необоснованному умилению.   
Я согласен, что у Пушкина было призвание сочинять стихи, а не преть ежедневно в петербургской, кишинёвской или одесской конторе за переписыванием или составлением скучных официальных бумаг, и тогдашние власти, надо признать, прощали ему и то, что он на работе *не показывается*, и что высказывается постоянно против правительства в целом и против отдельных государственных мужей, против религии и служителей культа, – сошлюсь для примера на H. М. Карамзина, который писал 7 июня 1820 года И. И. Дмитриеву по поводу того, что мы привыкли называть *южной ссылкой*: «Его простили за эпиграммы и за оду на вольность, дозволили ему ехать в Крым и дали на дорогу 1000 рублей...» Цель моих теперешних рассуждений такова: опровергнуть утверждение, совершенно ложное, но выдаваемое за неоспоримую истину, будто, изучая жизнь писателя, мы лучше понимаем его творчество. Исходя из этого постулата, юнцов и юниц принуждают зазубривать биографию Пушкина, Гоголя, Маяковского; если в программу вставлены Федин, Фадеев, Фурманов, Островский, который написал «Как закалялась сталь», Гладков, автор романа «Цемент», или какой иной *инженер человеческих душ*, получивший в своё время орден или Сталинскую премию за литературные достижения на поприще социалистического реализма, пусть отроки запоминают биографические сведения и о них, пусть зазубривают их *крылатые* высказывания, вроде того отзыва, который оставил Гладков о творчестве Гоголя или Маяковский о стихах Лермонтова, чтобы потом в классе учитель проверил, как школяры зазубрили, – то есть, простите, как школьники вникли в жизнеописания для лучшего понимания творчества!

Мы ничего не знаем о человеке, написавшем «Илиаду» и «Одиссею». Можно только гадать, кто сочинил «Песнь о Нибелунгах» или «Слово о полку Игореве». Вспомним также поэму «Витязь в тигровой шкуре»: в тексте автор представился, зовут его Шота, и он родом из города Рустави, и на этом наше знакомство с ним заканчивается. Наша полная неосведомлённость (или весьма скудные сведения, как в случае с Шекспиром) о жизни литератора не сказывается на восприятии и оценке их творений. Христианство, крупнейшая мировая религия, полагается в своей вере на канонические евангелия, не имея достоверных сведений о евангелистах, только называя их по именам: Матфей, Марк, Лука, Иоанн.

Художественное произведение существует само по себе и должно говорить само за себя. Может быть, моё требование покажется слишком жёстким, но и небольшое стихотворение, и большой роман должны быть понятны от начала до конца любому образованному человеку. В случае с народными сказками в число благодарных слушателей входили неграмотные люди; в Древней Греции мифы, порой весьма богатые событиями и количеством действующих лиц, были известны простому народу благодаря доходчивому изложению; в Англии в среде простолюдинов имели хождение легенды о короле Артуре и его рыцарях; в карело-финских деревнях неграмотные сказители запоминали на слух и исполняли по памяти руны, составившие «Калевалу». Во вред художественному произведению служат слова, предложения, образы, явления, особенно намёки и иносказания, которые уже при написании требуют пояснений, а по прошествии времени, становясь ещё менее понятными, порождают всяческие *интерпретации*.

Школяров и студентов принуждают разбираться в *истории создания* того или иного произведения, им разжёвывают и требуют потом доложить, при каких обстоятельствах, под влиянием чего или кого оно было написано, литературоведы берутся объяснять, что чувствовал поэт, когда работал над тем или иным *бессмертным творением*, – но при этом толкователи зачастую скрывают подлинные обстоятельства, не рискуя по тем или иным причинам их *обнажить*, и если нам в комментариях предлагаются недомолвки, иносказания или искажения, то тем более к чему создавать видимость литературоведческого анализа?

Анна Ахматова открыла глаза простым смертным на *творческий процесс*, который иным кажется священнодействием:

Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи...

Вместо того чтобы просто читать поэзию или прозу, связывать художественный вымысел со своими раздумьями и переживаниями, мы, ковыряясь, извините за некрасивое слово, в биографии и в *истории создания* можем наковырять чего-нибудь такого, что одних покоробит, других удивит, в третьих пробудит или усилит цинизм.

К 1819 году относится следующее пушкинское стихотворение, написанное во второй половине июня:

Ольга, крестница Киприды,

Ольга, чудо красоты,

Как же ласки и обиды

Расточать привыкла ты!

Поцелуем сладострастья

Ты, тревожа сердце в нас,

Соблазнительного счастья

Назначаешь тайный час.

Мы с горячкою любовной

Прибегаем в час условный,

В дверь стучим – но в сотый раз

Слышим твой коварный шёпот,

И служанки сонный ропот,

И насмешливый отказ.

Ради резвого разврата,

Приапических затей,

Ради неги, ради злата,

Ради прелести твоей,

Ольга, жрица наслажденья,

Внемли наш влюблённый плач –

Ночь восторгов, ночь забвенья

Нам наверное назначь.

Девушка по имени Ольга не выведена *гением чистой красоты*, она *жрица наслажденья*, и пишущий не скрывает, что явился к ней *в* *условный час* не просто так посидеть, а с *горячкою любовной* ради *резвого разврата* и *приапических затей*, дабы провести с означенной Ольгой *ночь восторгов, ночь забвенья*. Кто-то назовёт стихотворение игривым, шутливым, кто-то найдёт его неприличным; большинство, я думаю, настроившись на умный разговор, вспомнят такие слова, как *эротический, чувственный*... И, поговорив, – это эротика, не порнография, так ведь? –   
мы возьмёмся за чтение следующего произведения в нашем сборнике пушкинской поэзии, как в картинной галерее мы перемещаемся от одного живописного полотна с Кипридой или Амуром к другому, где какие-нибудь фавны и вакханки предаются *резвому разврату*; обычным посетителям всё равно, какими красками и кистями пользовался живописец, каких натурщиков и натурщиц он приглашал, порой мы не удосуживаемся взглянуть на имя художника на табличке и на год, когда картина была нарисована. Понравилось или не понравилось – этим мерилом оцениваются художественные произведения, и никакие опытные искусствоведы или литературоведы не смогут переубедить человека, считающего какую-либо картину *мазнёй* и чьи-либо стихи *белибердой*.

Примечания к зачитанному произведению, на мой взгляд, служат как раз тому, что мы начинаем предаваться *интерпретациям* и отвлекаемся от искусства. Пушкинист Д. Д. Благой сообщает, что девушка в произведении: «*Ольга Массон* – одна из петербургских *прелестниц*, приятельница Пушкина и его друзей». Кое-кто останется в радужном заблуждении, представляя себе застолье с вином и чтением стихов в компании милого создания, мужчин завлекающего, но не обязательно к своему телу допускающего; однако, кто-нибудь *знающий* поспешит открыть нам глаза на *голую правду: прелестница* – это эвфемизм, имеется в виду продажная женщина, согласная заниматься *резвым развратом* хоть с Пушкиным и его друзьями, хоть с кем, кто платит. В других изданиях приводится пояснение Б. В. Томашевского, которое никак не служит тому, чтобы *лучше понять произведение*: «Ольга Массон (родилась в 1796 году) принадлежала к петербургскому *полусвету*».

Будучи просто Ольгой, девушка воспринималась как литературный персонаж; *просветившись*, мы перестаём считать её девушкой, у некоторых возникает желание, может быть, даже *приапическое*, покопаться в биографии *настоящей* Ольги Массон. Рано или поздно отыскиваются сведения, то ли соответствующие, то ли не соответствующие действительности, будто *прелестница* «после бесчисленных мятежных заблуждений» вышла замуж за какого-то *почтенного чиновника в Могилёве*. Может быть, закопаться с головой в могилёвских архивах и, если чиновник обнаружится, включить его имя в Пушкиниану, поскольку он получил в жёны бывшую *приятельницу* нашего великого поэта?

Оттолкнувшись от двух слов, коими исчерпываются сведения о *жрице сладострастья*, можно предаться очень даже пространным домыслам, какие мы находим, например, у Ю. Тынянова в романе «Пушкин»: автор приписывает своему юному герою, в любовных делах явно искушённому, следующие рассуждения об *изменницах*: они, живущие изменой, «должны были быть самыми пылкими в самой измене, самой страсти, должны быть бешены, неукротимы, без устали предаваться любви. Ничуть не бывало. Холодны, умеренны. <…> Любовь была их делом, а интересоваться делом было скучно, неуместно. Они придавали себе цену, относясь небрежно, поверхностно к объятиям, страсти их не согревали. <…> Ревность их была холодна – торговая ревность, – а самолюбие бешеное».

Как будто Пушкин лично делился с Тыняновым своими *интимными* наблюдениями и выводами! Мне кажется, что Тынянов пытается представить дело так, будто в отношениях поэта с разными *прелестницами* не было глубокого чувства. Какие-то мимолётные отношения! И в этих отношениях со скучающими *жрицами сладострастья* не было ничего низменного. И страсти, собственно, не было. Великий поэт понимал суть *изменниц*, он был предан высокой поэзии... Так или иначе, вот нам портрет *прелестницы* Массон, написанный кистью Тынянова:

«Однажды он попал к такой, которая знала стихи, читала последние журналы, вообще была образованна. Она была модница.

– Теперь Вольтера никто не читает, кому он нужен?

Пушкин прислушался.

– А кто нужен? – спросил он.

– Бассомпьер, – сказала модница.

Был и такой. Она и его читала. В объятиях она зевнула. Между делом дважды выбросила высоко ножку и сказала равнодушно:

– А теперь опять.

Равнодушье было удивительное.

Он спросил её имя. Имя было нерусское, нарочитое: Ольга Масон. Все заблужденья с ней были нарочиты, порок невесел. И Олинька Масон, и Лиза Штейнгель прибыли с разумной целью. Из недалёких мест, которыми бредили романтики, они приезжали не для страсти – ибо страсть крепка, – а для пользы вещественной. <…> Они не мешали. Потом росли пуховики, прибавлялись вещи. И они уезжали для семейного счастья...»

Разве не удивительно? В стихотворении мы читали, как Пушкин в *любовной горячке* рвётся к *жрице наслажденья*, мечтая о *сладострастных поцелуях*, изнемогает в ожидании *резвого разврата*, предвкушает *ночь восторгов*, но литератор Тынянов как ушат холодной воды выливает на Пушкина – точнее, на читателя; по его *интерпретации* Ольга Массон зевала в объятиях любовника, холодно отдавалась ему, *выбрасывая ножку*, вообще *порок* с ней *был* *невесел*, занималась она плотской любовью с Пушкиным и с кем угодно, как и остальные *изменницы*, без страсти, для *пользы вещественной*: на заработанные деньги покупала пуховики, готовя себя к будущему семейному счастью с каким-нибудь *почтенным чиновником* где-нибудь в Могилёве – почему бы нет, обычное житейское дело, и, вопреки утверждению ветхозаветного составителя притчей, земля не содрогается от негодования, если *позорная женщина* выходит замуж: «мерзкая жена аще ключится добру мужу»... А почему Тынянов, придумав про равнодушное отношение *жрицы любви* к *приапическим затеям*, приписал ей чтение Вольтера и – бог ты мой! – даже мало кому известного Бассомпьера? Видимо, тоже для облагораживания: наш великий поэт не с какими-то тупыми девками путался, он с образованными модницами возлегал на ложе, с такими, коих в античности гетерами называли, в иные времена величали *честными* куртизанками, и будто бы они *отличались высоким образованием и вращались в высших сферах общества*.

Вымысел облагораживает, обман, как сказал Пушкин, нас возвышает... Когда некоторым разбойникам усиленно приписывают *благородство* или даже выставляют борцами за народное дело, когда некоторыми проститутками восхищаются за любовь к поэзии и умению вести себя в обществе, светском или полусветском, почему-то тянет вспомнить негромко низменную правду. Язык у меня не поворачивается на грубые слова, поэтому предоставлю слово А. И. Тургеневу, который   
18 июня 1819 года (в те дни, когда написано послание к Ольге Массон) сообщал князю П. А. Вяземскому: «Пушкин очень болен. Он простудился, дожидаясь у дверей одной <…>, которая не пускала его в дождь к себе, для того чтобы не заразить его своею болезнью».

Из такого вот *сора* выросло послание к девушке, не пустившей поэта на свой порог. Способствует ли он *лучшему пониманию* пушкинской поэзии?

Некоторые произведения доходят до читателя с большим опозданием или не в первозданном виде. Например, послание к Ольге Массон было напечатано впервые только в 1857 году, при этом цензура вырезала две строки: про *резвый разврат* и *приапические затеи*. Также *ночь* целомудренно заменили на *день*, в новой редакции поэт жаждал попасть к *жрице наслажденья*, чтобы провести с ней д*ень восторгов, день забвенья*.

Коснувшись таким образом текстологии, приведу её определение, вычитанное мной в Большой советской энциклопедии: «Отрасль филологии, изучающая произведения письменности, литературы и фольклора в целях критической проверки, установления и организации их текстов для дальнейшего исследования, интерпретации и публикации». Не будем вдаваться, что такое *критическая проверка*, как понимать *установление текстов*, и почему нам показалось, что *проверкой* и *установлением* занимаются одни люди, дальнейшим *исследованием* и *интерпретацией* как будто другие, и почему, купив книгу, мы видим в ней опечатки, отсутствие пояснений, где они нужны, или *интерпретации*, смысл запутывающие. В следующих строках моё особенное внимание привлекли *дивинации* и *конъектуры*, так что я даже вынес их в заголовок своего очерка: «Установление античности текстов почти всегда сводится к реконструкции с применением тонко разработанного критического метода, гипотез, дивинаций (дописывание, досочинение) и конъектур, установленный текст остаётся гипотетичным. <…> текстология некоторых произведений эпохи книгопечатания <...> требует изощрённых методов исследования».

Прочитав, мы понимаем, что идёт речь о *высшем пилотаже* в области языкознания, далеко не каждому дано освоить *тонко разработанные и изощрённые методы*.

Поскольку я учился на английской филологии, позволю себе сделать перевод: *дивинация* значит *гадание*; когда-то гадали по полёту птиц и по их потрохам, в наше время предпочитают гадать на картах, на кофейной гуще, на бобах; *конъектура* – это *предположение*. Если в тексте, у того же Пушкина, неразборчиво написано одно или несколько слов, наших *дивинаций* и *конъектур* хватит на ряд научных статей и на получение кандидатской степени, ежели в каком памятнике письменности безвозвратно вырвана страница, поле деятельности значительно расширяется, наши догадки, предположения, дописывания и досочинения с *применением тонко разработанного критического метода* выльются со временем не иначе как в докторскую диссертацию. Правда, *установленный текст*, как нам объяснили, останется *гипотетичным*.

В современном сборнике пушкинских стихов мы находим следующее произведение:

Заступники кнута и плети,

О знаменитые князья,

За них жена моя и дети

Вам благодарны, как и я.

За вас молить я бога буду

И никогда не позабуду,

Когда по делу позовут

Меня на новую расправу,

За ваше здравие и славу

Я дам царю мой первый кнут.

Складно зарифмовано, читается легко... Но о чём здесь говорится? Кто такие *заступники кнута и плети*? Видимо, злодеи, крепостники, тираны того же рода, коих Пушкин бичевал в своей оде «Вольность». Поскольку под произведением стоит дата 1825 год, мы вправе задуматься: у Пушкина ещё не было ни жены, ни детей. И почему несуществующие домочадцы должны быть благодарны нехорошим *князьям*... за что? Судя по грамматическому построению, за кнуты и плети! Если *князья* –   
злодеи, почему поэт обещает молиться за них? Поэт говорит о *новой расправе*, значит, была предыдущая; не его ли уже стегали кнутом или плетью? И каким образом *первый кнут* достанется не ему, а царю?

Перечитайте текст: перед вами галиматья, набор слов и фраз, общего смысла не имеющий! Дабы моё смелое или даже дерзкое заявление не показалось голословным, сообщу, что сей *памятник письменности* был обнаружен П. Е. Щёголевым в черновых бумагах поэта, о чем он известил общественность в 1911 году в статье «Новые стихотворения А. С. Пушкина» (журнал «Русское Слово», № 181), и предлагаю посмотреть, как найденный черновик выглядит в шестнадцатитомном собрании сочинений А. С. Пушкина, во втором томе, изданном в 1947 году (книга первая):

Заступники кнута и плети,

[О знаменитые<…>?] князь<я>,

[За <всё> <?>] жена [моя] [и] дети

[Вам благодарны] как <и я><?>.

За вас молить [я] бога буду

И никогда не позабуду.

Когда позовут

Меня на полную<?> расправу,

За ваше здравие и славу

Я<?> дам<?> царю<?> мой первый кнут.

Сравните: небо и земля! Не знаю, правда, что именовать небом, что землёй... В пояснениях мы читаем, что набросок относится, предположительно, к первой половине сентября 1825 года и что Т. Г. Цявловская в своей научной статье от 1941 года назвала его *политической эпиграммой*, отметив: «В. Я. Брюсов предложил конъектуры на *<царскую> расправу* и *Влетит <царю> мой первый кнут»*; в переводе на понятный русский язык это значит, что слова *царскую* и *царю* вставлены в пушкинский черновик поэтом Валерием Брюсовым *по догадке*. Кстати, я упорно называю обсуждаемый текст наброском, черновиком, но в «Собрании сочинений» его поставили, несмотря на отсутствие смысла, в раздел «Стихотворения», а не в черновые варианты. Почему? Потому что, хоть это и обрывки, в них усматривается ненависть Пушкина к крепостникам, потому что Пушкин смело заявляет, что готов отстегать кнутом царя, и всё это явно перекликается с обличительной одой «Вольность»...

В академическом издании мы не находим объяснений по *смыслу* написанного, поэтому поясню, не прибегая к собственным *дивинациям*, но обратившись к иным печатным источникам: в 1825 году Пушкин пребывал в Михайловском; он скучал, томился, злился, негодовал: после шумной, весёлой Одессы с её театром и ресторанами, с бесплатными и, видимо, изысканными кушаньями в доме графа М. С. Воронцова, державшего *открытый стол*, после картёжных игр, бесед и пирушек в компании тех или иных светских людей, после ухаживаний за графиней Воронцовой и посещения борделей оказаться в глухой деревне, при этом твой отец подписал с властями соглашение, что будет *присматривать* за тобой. Пушкин обращается к Жуковскому: «Михайловское душно для меня. Если бы царь меня до излечения отпустил за границу, то это было бы благодеяние, за которое я бы вечно был ему и друзьям моим благодарен». Он пересылает через Жуковского письмо Александру I. Царь не даёт разрешение на выезд, советует Пушкину лечиться в Пскове. Обеспокоенный Жуковский, друг, находит опытного хирурга, И. Ф. Мойера, готового приехать из Дерпта в Псков. Князь Вяземский, тоже друг, советует больше не ссориться с властью: «Право, образумься, и вспомни – собаку Хемницера, которую каждый раз короче привязывали, есть ещё и такая привязь, что разом угомонит дыхание; у султанов она называется почётным снурком, а у нас этот пояс называется Уральским хребтом. Надеюсь, а пуще желаю, чтобы Псков принёс тебе пользу...» Пушкин ехать на лечение в Псков не собирается, ибо жалобы на здоровье, на *аневризм ноги*, были предлогом; как пишет   
М. А. Цявловский: «Пушкин физически ничем не страдал»; поэт собирался бежать за границу. Мысль о побеге пришла ещё в Одессе, ибо: «Святая Русь мне становится не в терпёж». Теперь, в Михайловском, в деревенской глуши, он обнадёживает себя:

Иду в чужбине прах отчизны

С дорожных отряхнуть одежд.

Друзья, Жуковский и Вяземский, не были посвящены в его дерзкий замысел; их заботы и особенно советы *образумиться* раздражают Пушкина, он в резком тоне отписывает Вяземскому: «Вам легко на досуге укорять меня в неблагодарности, а были бы вы (чего боже упаси) на моём месте, так, может быть, пуще моего взбеленились», и, кроме письма, *взбеленившись*, поэт набрасывает на полях рукописи слова и фразы для эпиграммы, в которой намерен выставить их, друзей, *заступниками кнута и плети*. Обвинение необоснованное и грубое. Видимо, Пушкин остыл, сам понял, что его злые выпады будут оскорблением, и оставил черновик без доработки. Может быть, он сообразил, что сильно преувеличивает свои несчастья, сравнивая их с наказанием плетью или, того хуже, кнутом. Набросок так и остался подборкой рифм: *князья – и я, плети – дети*, набором случайных фраз, пришедших в голову... Послушаем лучше Павла Евсеевича Щёголева; привожу его суждение о найденных черновиках по статье 1931 года «Из жизни и творчества Пушкина»: «Восстановить стихи в полном объёме нет возможности: слишком много зачёркнутого и слишком много незачёркнутого, писанного пушкинской скорописью...» Щёголев разобрал два варианта: «Под зачёркнутыми словами разбирается и первоначальная редакция. <…> Даже при поверхностном ознакомлении с рукописью ясно, что больше ничего не выжмешь из этого черновика. Самостоятельного стихотворения из него не сделаешь».

Цявловская (в 1941 году) сообщала по поводу текстологических усилий Валерия Брюсова: слова *царскую* и *царю* были внесены им в текст *исключительно по догадке*. Об этом раньше неё говорил и Щёголев: «Брюсова тенденциозное стремление революционизировать Пушкина завело очень далеко. <…> Категорически можно утверждать, что царь тут не причём: ни слова *царскую*, ни слова *царю* в рукописи нет».

Щёголев был уверен, что *самостоятельного стихотворения* из чернового наброска не сделаешь. Но ведь сделали! Текстологи с удовольствием предавались домысливанию, дописыванию и, возможно, к иным *изощрённым методам исследования*, а потом, уже в новое время, какой-то издатель для *публикации* по недомыслию избавился от вопросительных знаков и раскрыл скобки, и плод *дивинаций* и *конъектур*, по идеологическим соображениям *революционизированный*, но смысла не имеющий, выдаётся теперь за законченное произведение А. С. Пушкина.

Сочинять стихи или прозу – личное дело. Точно так и с чтением. Кто хочет – читает, при этом то, что ему нравится. Нет причин навязывать книжки в целом или определённые произведения тому, кто их не любит.

Нет необходимости предлагать школьникам писания, проникнутые ненавистью, со злыми оскорблениями, призывами что-либо уничтожать или кого-либо ставить к стенке; при этом не является извинением то, что произведение вышло из-под пера какого-либо талантливого литератора. Хорошо, когда книги для школьного чтения понятны ― как ученикам, так и учителям, понятны и не требуют сложных и не обязательно правильных *интерпретаций*.